

RU

Книга как текст и как предмет в произведениях Ф. М. Достоевского

Ковалевская Т. В.

Аннотация. Статья посвящена вопросу функционирования книги в произведениях Достоевского не только как текста, анализируемого в сопоставлении с текстом самого писателя, но и как физического предмета, играющего роль, на первый взгляд не связанную с его текстовым содержанием. Цель исследования – на примере амбивалентного образа книги как предмета и текста продемонстрировать тесную зависимость всех элементов поэтики Достоевского, включая маргинальные, от основополагающих принципов его художественного мира. Научная новизна исследования состоит в обращении к малоизученной теме функционирования книги не только как текста, но и как независимого от текста физического предмета, который может играть не связанные с традиционным предназначением книги роли, например выступать в качестве хранилища или некоторого средства маскировки других предметов. При такой оптике исследования фокус смещается с книги на тех людей, которые с ней связаны, и в результате в статье показывается, как одни и те же элементы текста могут играть разные роли и как анализ функций даже одного отдельно взятого элемента текста выводит читателей на масштабные аспекты поэтики Достоевского, такие как его гносеология, антропология и богословие и его представления о ложной (самообожение) и истинной (кенотическое самоопустошение) целях бытия человека.

EN

Books as texts and objects in Fyodor Dostoevsky's works

T. V. Kovalevskaya

Abstract. The article investigates the issue of books functioning in Dostoevsky's works not only as texts analyzed alongside the writer's own works, but as physical objects that play roles apparently unconnected with their contexts. The purpose of the research is to use the ambivalent image of books as both objects and texts to demonstrate that all elements in Dostoevsky's poetics, including marginal ones, stem from the fundamental principles of his poetics. The research is novel in that it focuses on a little-investigated issue of books functioning as physical objects independent of their contents playing roles that appear incompatible with their traditional purpose serving as vessels or even as covers for other objects. This research optics refocuses attention on people connected with books, and our findings show that the same elements of a text can play different roles, and exploring even a single element in Dostoevsky's works reveals key elements in major aspects of Dostoevsky's poetics, such as his epistemology, anthropology and theology, and his ideas of the false (self-deification) and true (kenotic self-emptying) goals of human existence.

Введение

Особое положение, которое литература занимала и занимает в русской культуре, всегда было предметом металитературных, философских, социально-политических размышлений. В этой связи роль книги традиционно видится прежде всего в том, чтобы быть носителем этих размышлений, т. е. центральный элемент книги – прежде всего ее текст. Исследованию возможного отношения книги как предмета внимания уделялось гораздо меньше. Однако в творчестве Достоевского такое обращение с книгой как с физической вещью безотносительно ее содержания – мотив, последовательно присутствующий в целом ряде его произведений. Актуальность исследования состоит прежде всего в обращении к творчеству одного из самых популярных во всем мире представителей классической русской литературы и в тех целях, которые он ставил перед всяким человеком и перед собой как писателем. Достоевский видел смысл жизни человека в раскрытии тайны собственного бытия и его смысла (Достоевский, 1972-1990, т. 28-1, с. 63), а миссию художника трактовал прежде всего как миссию пророка, призванного не только постичь эту тайну, но и раскрыть ее людям (Достоевский, 1972-1990, т. 11, с. 157, 237). При этом, однако, это раскрытие тайны Достоевский хотел делать процессом, в котором читатель принимает

самое активное участие. «Пусть потрудятся сами читатели» (Достоевский, 1972-1990, т. 11, с. 303), – записывает он в черновиках к «Бесам». Представление о писателе как о пророке и учителе делает чрезвычайно важным понимание текстов Достоевского максимально адекватным его замыслу образом, к чему Достоевский стремился и сам, утверждая, что именно возможность такого понимания показывает художественный талант автора (Достоевский, 1972-1990, т. 18, с. 89). Популярность Достоевского сегодня, восприятие его как пророка, в художественной форме раскрывающего человеку тайну его бытия, обуславливает актуальность исследований его творчества во всех аспектах, в том числе в разрезе исследования книги не только как текста, но и как предмета, поскольку сами по себе книги представляют собой в некотором смысле сакрализованное культурное явление в России. Наша работа призвана, в числе прочего, показать возможность постижения глубинных смыслов произведений Достоевского через любой, даже внешне незначительный, элемент его произведений, что делает работу актуальной и как вклад в корпус исследований его творчества, и как пример индуктивного анализа творчества писателя.

В исследовании ставятся следующие задачи: составить выборку примеров, где книга фигурирует не только и не столько в качестве текста, сколько в качестве физического объекта; проанализировать предметную функцию, которую книги выполняют в выбранных фрагментах; проанализировать соотношение содержания книги и ее предметной роли; продемонстрировать мотивно-идейную цельность творчества Достоевского, показав на примере анализа книги-предмета, как маргинальный мотив может послужить одним из ключей к фундаментальным религиозным, философским и антропологическим принципам Достоевского.

Исследование выполнено с использованием метода селективной выборки для отбора материала, сравнительно-исторического и индуктивного методов анализа при работе с полученным набором текстов, что позволяет, двигаясь от эмпирических данных текста, выйти на уровень концептуально-философских обобщений в интерпретации мысли Достоевского.

Материалом исследования послужили следующие тексты:

- Аврелий Августин. О граде Божием. СПб., 1998. Кн. I-XIII.
- Булгаков М. А. Пьесы. М.: Советский писатель, 1986.
- Гоголь Н. В. Полное собрание сочинений: в 8 т. М.: Правда, 1984. Т. 3.
- Достоевский Ф. М. Полное собрание сочинений: в 30 т. Л.: Наука, 1972-1990. Т. 3. Т. 4. Т. 5. Т. 8. Т. 10. Т. 11. Т. 14. Т. 15. Т. 18. Т. 22. Т. 24. Т. 28-1.
- Исаак Сирий. Аввы Исаака Сирина слова подвижнические. М., 1993.
- Страхов Н. Н. Биография, письма и заметки из записной книжки Ф. М. Достоевского. СПб.: Типография А. С. Суворина, 1883.
- Fleming F. The Viking Invader. L.: Usborne Publishing, 1997.

Теоретическую базу составляют труды исследователей, изучавших основные принципы творчества Достоевского (Степанян, 2005; Jackson, 1993; Лихачев, 1976; Франк, 1927), и работы, посвященные собственно книге как предмету (Корбелла, 2023). К. А. Степанян (2005) эксплицировал примат сверхприродного над природным в философии и антропологии Достоевского, как следствие, утверждая необходимость рассматривать все элементы произведений Достоевского в метафизической перспективе. С. Л. Франк (1927) указал на те аспекты поэтики Достоевского, которые могут показаться оксюморонными с точки зрения читателя-христианина, но их внимательный анализ позволяет увидеть взаимосвязанность поэтики и антропологии Достоевского, определяемых его христианским мировоззрением. Д. С. Лихачев (1976) описал кажущееся «небрежение словом» у Достоевского, протекающее на самом деле из глубинных гносеологических поисков писателя и лежащих в их основе когнитивных принципов, определяющих поэтику Достоевского. Р. Л. Джексон (Jackson, 1993) вписал религиозную поэтику Достоевского в широкий культурно-исторический контекст. К. Корбелла (2023) подробно проанализировала образ книги как предмета в «Идиоте». Опираясь на общие принципы функционирования поэтики Достоевского в изложении К. А. Степаняна (2025), Д. С. Лихачева (1976), С. Л. Франка (1927) и Р. Л. Джексона (Jackson, 1993) и на анализ образа книги у К. Корбеллы (2023), мы продолжаем исследование книги как предмета в других произведениях писателя, связывая этот элемент его художественного мира с его базовыми мировоззренческими и творческими принципами.

Практическая значимость работы состоит в возможности использования ее результатов как в дальнейших исследованиях, так и в преподавании курсов по творчеству Достоевского и при составлении учебников и учебных пособий по русской литературе в целом и по творчеству Достоевского в частности.

Обсуждение и результаты

Внимание к гражданской роли слова характерно для любого государства, о чем свидетельствуют существовавшие в разных странах разнообразные формы цензуры (например, от списков запрещенных книг до предварительной цензуры театральных постановок). В России размышления о гражданской роли поэта широко варьировались от строк «Поэтом можешь ты не быть, // Но гражданином быть обязан» (в свою очередь восходящих к творчеству К. Ф. Рылеева) до «Поэт в России – больше, чем поэт, // В ней суждено поэтами рождаться // Лишь тем, в ком бродит гордый дух гражданства...» Любопытно отметить, что из всего пространного стихотворения Н. А. Некрасова формульным стал фрагмент, утверждающий примат гражданственности над художественностью (о более сложной концепции творчества у Некрасова пишет И. Н. Сухих (2006)), тогда как из равно гражданского стихотворения Е. А. Евтушенко в металитературное высказывание превратилась

гораздо более двусмысленная фраза, позволяющая видеть в поэте не только человека, чей талант предназначен к исполнению определенной гражданской роли, но и пророка высших истин.

Иная картина предстает читателям в двух «Пророках» А. С. Пушкина и М. Ю. Лермонтова, где акцент ставится не на гражданской составляющей человеческого бытия, а на представлениях о поэте как носителе религиозно-философской истины, о поэте как Учителе. Это представление распространяется и на иные слово и текст, обладающие качеством некоторого духовного откровения тайны о человеке. Недаром В. А. Викторovich (2018) назвал свою книгу о журналистике Достоевского «Дневник писателя. Достоевский как учитель жизни».

В таком подходе к писателям внимание акцентируется прежде всего на содержании произведений. Однако возможен и другой подход, при котором на первый план выходит собственно книга как физический предмет, безотносительно своего содержания. Обычно такая точка зрения на книгу становится предметом сатирического или юмористического осмысления ситуации. Так, в юмористической брошюре, сделанной в виде бульварной газеты “The Viking Invader”, где в комической форме излагаются (вполне корректно) различные факты из истории викингов, в конце есть рубрика «Частные объявления», где в числе прочих есть и такое: «Полное собрание исландских саг. В отличном состоянии. Все еще в коробке. Станут идеальным упором для двери» (Fleming, 1997, p. 32). Такая смена оптики создает комический эффект, неожиданно заставляя вообразить, как саги, предмет национальной гордости исландцев, сохранивших до наших дней язык XII в., вдруг оказываются всего лишь упором для двери. Книга вдруг предстает не носителем знания, откровения, мудрости или учения, а обычным предметом, которому можно найти любое употребление.

Подобные ситуации в русской культуре также обычно осмысляются сатирически, как, например, у М. А. Булгакова (1986, с. 249-250) в пьесе «Последние дни (Пушкин)», где, по мнению графа Салтыкова, «книги не для того печатаются, чтобы их руками трогали», а писатели в его «богатой библиотеке» расставлены по ранжиру, от предположительно первых до последних, причем судит граф об этом исключительно по словам других людей, и когда Кукольник называет Бенедиктова первым поэтом России, Салтыков немедленно отдает приказ: «Агафон! Из второй комнаты, шкаф “зет”, полка тринадцатая, переставь господина Бенедиктова в этот шкаф, а господина Пушкина переставь в тот шкаф. <...> Первые у меня в этом шкафу. <...> Не вздумай уронить на пол» (1986, с. 253).

Этот контраст предметности и наполненности не так часто становится предметом анализа, однако в последнее время этому особое внимание уделяют в ИМЛИ РАН, где прошло уже две конференции «Книга в книге» (2023 и 2024 гг.) и вышла коллективная монография на эту тему (Книги в книге, 2024).

В своей статье «Концепт “книга” в романе Ф. М. Достоевского “Идиот”» К. Корбелла обращается к теме использования книги как предмета и, в частности, рассматривает ситуацию использования книги как хранилища (в книги вкладывают письма и даже нож) и вопрос о соотношении содержания книги и значения предмета, который в нее кладут. Так, Аглая кладет письмо князя в книгу, которая окажется «Дон Кихотом»:

«Кончила, впрочем, тем, что с насмешливой и странно улыбкой кинула письмо в свой столик. Назавтра опять вынула и заложила в одну толстую, переплетенную в крепкий корешок книгу (*она и всегда так делала с своими бумагами, чтобы поскорее найти, когда понадобится*) (курсив наш. – Т. К.)» (Достоевский, 1972-1990, т. 8, с. 157).

С другой стороны, Парфен Рогожин вкладывает нож в «Русскую историю» Соловьева. Корбелла замечает: «Автору важно, чтобы читатель не упускал из виду способность книги быть хранилищем. Благодаря упомянутым эпизодам также становится ясно, что хранимое в книге является (хотя в каждом случае по-разному) некой связью между людьми» (2023, с. 38). Однако и предпочтение, оказываемое книге в качестве хранилища перед, например, столом, также может оказаться неоднозначным. Представляется, что в действиях Аглаи и Рогожина, кроме мотивов, указанных Корбеллой, фигурирует и противоположное отношение к книге. Для Аглаи книга – это предмет, к которому она обращается чаще, чем к столу, т. е. это предмет, который менее бесспорно скрывает от нее нужные ей письма, а для Рогожина книга, наоборот, предмет, который более надежно, чем стол, скрывает заложенный в нее нож:

«– Оставь, – проговорил Парфен и быстро вырвал из рук князя ножик, который тот взял со стола, подле книги, и положил его опять на прежнее место.

<...> Говоря, князь в рассеянности опять было захватил в руки со стола тот же ножик, и опять Рогожин его вынул у него из рук и бросил на стол. <...> Видя, что князь обращает особенное внимание на то, что у него два раза вырывают из рук этот нож, Рогожин с злобною досадой схватил его, заложил в книгу и швырнул книгу на другой стол» (Достоевский, 1972-1990, т. 8, с. 180).

Отношения человека с книгой как предметом обычно тесно зависят от того, какие отношения у человека выстраиваются с книгой как ее содержимым. И неоднозначность роли книги как предмета (книга-хранилище может либо надежно скрывать предмет, либо, наоборот, напоминать о нем) также зависит от того, насколько часто хозяин в принципе читает книги. В предметах нет однозначности и окончательности именно в силу их связи с людьми.

Впрочем, бывают и такие случаи, когда нахождение некоторого предмета в книге оказывается вынужденным обстоятельством:

«При вступлении в острог у меня было несколько денег; в руках с собой было немного, из опасения, чтоб не отобрали, но на всякий случай было спрятано, то есть заклеено, в переплете Евангелия, *которое можно было пронести в острог*, несколько рублей. Эту книгу, с заклеенными в ней деньгами, подарили мне еще в Тобольске те, которые тоже страдали в ссылке и считали время ее уже десятилетиями и *которые во всяком несчастном уже давно привыкли видеть брата* (курсив наш. – Т. К.)» (Достоевский, 1972-1990, т. 4, с. 67).

Но и здесь использование книги как хранилища также оказывается связанным с отношениями людей друг к другу. Поскольку религиозные книги – единственное чтение, доступное в остроге, заклеивание денег в самую, казалось бы, неподходящую для этого книгу оказывается вынужденной мерой – проявлением братской любви, поданием средства хоть немного смягчить бесчеловечную жизнь в остроге.

Читатель очень часто уравнивает факт присутствия книги со знакомством героя с этой книгой, хотя на самом деле факт присутствия любого предмета далеко не является гарантией использования этого предмета по назначению. Очень часто нечитанные книги подчеркиваются у Достоевского особо. Так, Варвара Петровна, упрекая Степана Трофимовича в лицемерии, бросает ему: «Вы отказывали мне даже в книгах, которые я для вас выписывала и которые, если бы не переплетчик, остались бы неразрезанными» (Достоевский, 1972-1990, т. 10, с. 263). Про Опискина рассказчик сообщает: «А между тем Фома Фомич заставлял дядю тратить ежегодно большие деньги на выписку книг и журналов. Но многие из них оставались даже неразрезанными. Я же, впоследствии, не один раз заставлял Фому за Поль де Коком, которого он прятал при людях куда-нибудь подальше» (Достоевский, 1972-1990, т. 3, с. 130). (Любопытно, кстати, что и Фома, и Верховенский-старший предпочитают одного и того же автора, Поля де Кока, что еще раз подчеркивает преемственность мотивов в творчестве Достоевского.)

Исследователи также акцентируют необходимость более критически относиться к описаниям того, как персонажи взаимодействуют с различными объектами, и не принимать взаимодействие с формой за взаимодействие с содержанием. Например, А. В. Моторин (2021) в своей статье о самоубийстве у Достоевского отмечает, что мы не знаем, молилась ли Кроткая перед иконой перед своим самоубийством. Он подчеркивает, что мы знаем об этом через третьи руки – от закладчика, которому рассказала прислуга Лукерья:

«...она вдруг вошла к барыне в нашу комнату что-то спросить, не помню, и увидела, что образ ее (тот самый образ Богородицы) у ней вынут, стоит перед нею на столе, а барыня как будто сейчас только перед ним молилась. “Что вы, барыня?” – “Ничего, Лукерья, ступай... Постой, Лукерья”, – подошла к ней и поцеловала ее. “Счастливы вы, говорю, барыня?” – “Да, Лукерья”» (Достоевский, 1972-1990, т. 24, с. 32).

Моторин (2021) пишет: «Сам же Достоевский намеренно не указывает на совершение молитвы, и это равнозначно ее отрицанию». Конечно, факт отсутствия указания на совершение молитвы не равнозначен ее отрицанию, но он действительно создает определенную амбивалентность касательно того, что именно происходило перед самоубийством Кроткой. И если факт наличия книги не является гарантией знакомства с ней, то и отсутствие указания на чтение или прямое указание на то, что в данный момент повествования книгу не читают, не является отрицанием знакомства с ней.

В «Братьях Карамазовых» сходная ситуация возникает с книгой Исаака Сирина у Смердякова. Она у него лежит, но он ее при читателе (и Иване) не открывает, что Достоевский подчеркивает: «На столе лежала какая-то толстая в желтой обертке книга, но Смердяков *не читал ее*, он, *кажется*, сидел и ничего не делал (курсив наш. – Т. К.)» (1972-1990, т. 15, с. 58). Слово «кажется» здесь тоже примечательно. Оно играет двоякую роль. Во-первых, указывает на то, что в данном случае повествование имплицитно ведется от лица Ивана – ведь это он присутствует рядом со Смердяковым. Во-вторых, это слово подчеркивает трудность постижения извне внутренней жизни человека. Делание бывает разным, не обязательно внешним. И определить внешним взглядом, свершается ли в человеке некое внутреннее делание (как бы мы его ни понимали, и здесь можно говорить и о религиозном внутреннем делании, и просто о некоей внутренней работе, и о некоей подготавливающейся внутри человека катастрофе), если не невозможно, то по крайней мере затруднительно. Чуть позже, однако, Смердяков все равно находит книге употребление:

«Он двинулся было встать кликнуть в дверь Марью Кондратьевну, чтобы та сделала и принесла лимонаду, но, отыскивая, чем бы накрыть деньги, чтобы та не увидела их, вынул было сперва платок, но так как тот опять оказался совсем засморканным, то взял со стола ту единственную лежавшую на нем толстую желтую книгу, которую заметил, войдя, Иван, и придавил ею деньги. Название книги было: “Святого отца нашего Исаака Сирина слова”. Иван Федорович успел машинально прочесть заглавие» (Достоевский, 1972-1990, т. 15, с. 61).

Отметим, что мы снова продолжаем получать сведения о книге через Ивана – и для него любая книга есть прежде всего свое содержание. Иван *машинально* читает заглавие, т. е. книга для него – прежде всего содержащий в ней текст, начинающийся с заголовка. Этот подход составляет особенный контраст с тем, как на глазах Ивана обращается с книгой Смердяков. Для него она – просто физический предмет, которым он прикрывает деньги вместо платка, потому что тот, с его точки зрения, видимо, грязен до неприличия.

Важно то, что этот «засморканный» носовой платок уже появлялся во время второго свидания Ивана Федоровича со Смердяковым:

«Иван Федорович вскочил и изо всей силы ударил его кулаком в плечо, так что тот откатнулся к стене. В один миг всё лицо его облилось слезами, и, проговорив: “Стыдно, сударь, слабого человека бить!”, он вдруг закрыл глаза своим бумажным с синими клеточками и совершенно засморканным носовым платком и погрузился в тихий слезный плач» (Достоевский, 1972-1990, т. 15, с. 51).

Ассоциативная наполненность этого фрагмента крайне высока. Упрек Смердякова, обращенный к Ивану, напоминает упреки Акакия Акакиевича в «Шинели»: «“Оставьте меня, зачем вы меня обижаете?” <...> и в этих проникающих словах звенели другие слова: “Я брат твой”» (Гоголь, 1984, с. 123-124). Р. Л. Джексон (Jackson, 1993, p. 77), анализируя диалоги русской и мировой культуры с Достоевским, привлекает эту фразу как одно из ключевых воплощений боли отвергнутого обществом «маленького человека», а потому слышит ее отзвуки в целом ряде подобных вопрошаний «маленьких людей». Представляется, что подобные отзвуки можно услышать и здесь (хотя мы не знаем историю взаимоотношений Смердякова с Гоголем, кроме его неудачной попытки прочитать «Вечера на хуторе близ Диканьки»). Однако здесь невысказанный смысл слов

Акакия Акакиевича обретает не только христианский, но и весьма буквальный смысл, поскольку Смердяков обращается к своему предполагаемому единокровному брату. Одновременно описание рыданий Смердякова словно бы возвращает читателя к главе «Верующие бабы», где слова, описывающие его плач, появляются в обращенных к крестьянке словах старца Зосимы:

«Она вынула из-за пазухи маленький позументный поясочек своего мальчика и, только лишь взглянула на него, так и затряслась от рыданий, *закрыв пальцами глаза свои*, сквозь которые потекли вдруг брызнувшие ручьем *слезы*».

– <...> И надолго еще тебе сего великого материнского *плача* будет, но обратится он под конец тебе в *тихую* радость, и будут горькие *слезы* твои лишь слезами *тихого* умиления и сердечного очищения, от грехов спасающего (курсив наш. – Т. К.)» (Достоевский, 1972-1990, т. 14, с. 46).

Эта аллюзивная наполненность создает возможности различных интерпретаций (Смердяков актерствует, Смердяков действительно до глубины души оскорблен, и то и другое вместе), что нередко бывает у Достоевского, но одна из них становится особенно любопытной, если обратить внимание именно на носовой платок Смердякова, который оказывается «опять» засморканным. М. М. Дунаев (2024), обращаясь к образу «маленького, гаденького, золотушного бесенка с насморком, из неудавшихся» (Достоевский, 1972-1990, т. 10, с. 231) в «Бесах», отмечал: «Забавно: чёрт Ивана Карамазова также жалуется на простуду...». Таким образом, «засморканный» платок относит Смердякова к числу бесов.

Бесов у Достоевского отличает пребывание на грани небытия, несуществования. В этом отношении Достоевский оказывается близким к блж. Августину, который писал, что «[р]ешительно никакая природа не есть зло, и само это имя (зло) показывает только лишение добра» (Аврелий Августин, 1998, с. 491) (ср. замечание Ф. Коплстона: «...зло само по себе есть лишение, не положительная сущность» (Copleston, 1994, p. 326)). Так, черт Ивана Карамазова желает воплотиться в семипудовую купчиху (Достоевский, 1972-1990, т. 15, с. 73), а подпольный человек, который ведет себя как заправский бес-соблазнитель, суть которого – злость, сообщающий о себе, что он «человек злой», «злой чиновник» (Достоевский, 1972-1990, т. 5, с. 99), т. е. что его сущность есть сущность врага рода людского, обнаруживает, что при попытке злости заменить собой первоначальную причину, т. е. Бога, «злоба <...> вследствие этих проклятых законов сознания химическому разложению подвергается» (Достоевский, 1972-1990, т. 5, с. 108), т. е. он обнаруживает, что теряет собственное бытие и собственное существование. Таким образом, присоединяясь к компании бесов, Смердяков начинает терять собственную сущность.

Именно эта утрата собственной сущности проявляется в том, что при первом появлении платка обращение с ним Смердякова оказывается весьма нехарактерными для человека, отличительной чертой которого была не просто чистоплотность, но даже брезгливость:

«...в Смердякове мало-помалу проявилась вдруг ужасная какая-то брезгливость: сидит за супом, возьмет ложку и ищет-ищет в супе, нагибается, высматривает, почерпнет ложку и подымет на свет. <...> Чистоплотный юноша <...> и с хлебом, и с мясом, и со всеми кушаньями оказалось то же самое: подымет, бывало, кусок на вилке на свет, рассматривает точно в микроскоп, долго, бывало, решается и наконец-то решится в рот отправить. <...> прибыл к нам из Москвы в хорошем платье, в чистом сюртуке и белье, очень тщательно вычищал сам щеткой свое платье неизменно по два раза в день, а сапоги свои опойковые, щегольские, ужасно любил чистить особенною английскою ваксой так, чтоб они сверкали как зеркало. <...> жалованье Смердяков употреблял чуть не в целости на платье, на помаду, на духи и проч.» (Достоевский, 1972-1990, т. 14, с. 115).

Но когда начинают появляться эти «засморканные» платки (или один и тот же платок), Смердяков словно перестает быть собой, потому что он не испытывает никакой брезгливости, закрывая глаза засморканным платком. Зато он не может прикрыть этим платком деньги. Смердяков словно переносит на деньги свое трепетное отношение к чистоте и отвращение к грязи. Смердяков бережет их чистоту больше, чем собственную. Теперь чистота, которой Смердяков ранее так дорожил *в себе*, переносится на деньги. Ранее, в «Записках из Мертвого дома» и особенно в «Игроке», Достоевский показывал, как деньги начинают замещать собой личность тех, кто придает им чрезмерное значение или не имеет другого способа подчеркнуть свою личность, и теперь такую же роль деньги начинают играть и для Смердякова. При этом он прячет их от возможного взгляда Марьи Кондратьевны под книгой Исаака Сирина.

Здесь книга играет прежде всего роль предмета, заменяет собой другой предмет, платок. Заменить платок можно было бы чем угодно, для целей Смердякова (скрыть деньги от глаз Марьи Кондратьевны) годится любой предмет. Но Смердяков требует от этого предмета дополнительного качества, чистоты, поэтому он берет первый оказавшийся рядом *чистый* предмет, но эта чистота оказывается двоякой, не только физической (свойство книги как предмета), но и нравственной (свойство содержания этой конкретной книги).

В чем важность и ценность «Слов» аввы Исаака Сирина для Достоевского? С. Сальвестрони (2014) писала об общей значимости различных слов Исаака Сирина для Достоевского, о важности проповеди любви у аввы и у русского писателя. А. А. Медведев (2014) писал о любви к животным (проявление красоты мира Божьего в бессловесных тварях) как отличительных чертах миров Исаака Сирина и Достоевского. Однако важнее всего представляются замечания А. Г. Гачевой (2018) о том, как в этих «Словах» воплощается важная для Достоевского идея апокатастасиса. Вот что пишет авва Исаак о сердце милующем:

«И что такое сердце милующее?» – и сказал: «Возгорение сердца у человека о всём творении, о человеках, о птицах, о животных, о *демонах* и о всякой твари. При воспоминании о них и при воззрении на них очи человека источают слёзы, от великой и сильной жалости, объемлющей сердце. И от великого терпения умягчается

сердце его, и не может оно вынести, или слышать, или видеть какого-либо вреда или малой печали, претерпеваемых тварью. А посему и о бессловесных, и о *врагах истины*, и о делающих ему вред ежечасно *со слезами приносит молитву*, чтобы *сохранились и очистились*; а также и об естестве пресмыкающихся молится с великою жалостью, какая без меры возбуждается в сердце его *по уподоблению в сём Богу*» (Исаак Сириин, 1993, с. 203-205).

Книга, деньги и грязный носовой платок, который Смердяков считает неподобающим для денег, но подобающим для себя, подчеркивают некоторую трансформацию природы Смердякова. Он словно бы перестает быть самим собой, человеком Павлом Федоровичем Смердяковым, и превращается в некое существо, которое «из банной мокроты завелось» (Достоевский, 1972-1990, т. 14, с. 114), мелкого беса, теперь еще и с насморком, как многие воплощающиеся во что-то бесы Достоевского.

Но бесы у Достоевского, как и подобает бесам, одержимы жадной самообожения, желанием встать на место Божие, причем путь на это место всегда связан с утверждением собственной воли и собственной власти, собственной тирании, принципа «все дозволено» – и при этом все дозволено только им, а не кому-то еще. Именно это проповедует Иван Карамазов, и поступок Смердякова служит утверждением все той же философии. Но совершенно иную точку зрения на богоподобие предлагает Исаак Сириин: он, «напротив, видит подражание Богу в сочувствии всем, отделившимся от Бога, даже тем, кто, казалось бы, не имеет никакой надежды. <...> «великая жалость» <...> уподобляет человека Богу в Его кенотической любви, духовно очищает его» (Медведев, 2014, с. 195-196). И такая любовь может подавать Смердякову некоторую надежду. (Об апокастасисе у Достоевского также пишет С. М. Капилупи (2007).)

Как уже подчеркивалось ранее, книгу Смердяков не читает. Читал ли он ее раньше? Знает ли он о том, что в ней написано? Книга Сирина появляется в романе не впервые. Вероятно, что эта книга пребывала рядом со Смердяковым с самого его детства: его приемный отец Григорий «добыл откуда-то список слов и проповедей “богоносного отца нашего Исаака Сирина”, читал его упорно и многолетно, почти ровно ничего не понимал в нем, но за это-то, может быть, наиболее ценил и любил эту книгу» (Достоевский, 1972-1990, т. 14, с. 89). При этом рассказчик уточняет, что Григорий «редко читывал вслух, разве великим постом». Введение в роман истории взаимодействия Григория со «словами» Исаака Сирина не только показывает нам, как именно Смердяков мог узнать содержание книги, не читая ее (возможно, пусть даже и маловероятно, что услышал от приемного отца), но и проблематизирует собственно вопрос понимания прочитанного/услышанного: Григорий, как читатель знает из собственного опыта, не одинок в непонимании прочитанного. В романе, как и в жизни, читатель имеет перед собой список фактов, которые могут привести его к разным выводам. Смердяков, возможно, не знает содержание слов Сирина, но, возможно, и знает; он либо сам прочитал книгу и теперь ее обдумывает, либо собирается читать, но, возможно, испытывает некий страх перед обращением к ней.

Страх Смердяков может испытывать только перед содержанием книги, и это возвращает нас к тому, с чего мы начали, – к тому, что книги как предметы и книги как содержания в творчестве Достоевского связаны с людьми. Ранее речь шла о связях с владельцами книг или о людях, которые как-то ассоциировались с этими книгами, но теперь следует обратиться к человеку как к понятию родовому, как к человеку вообще.

Р. Отто писал о том, что священному, запредельному свойственно внушать человеку ужас: «“Ужас” обращается здесь в бесконечно облагороженную форму глубочайшего внутреннего трепета и безмолвия, пронизывающего душу до последних ее корней. Он со всей силой охватывает душу и в христианском культе при словах: “Свят, свят, свят”» (2008, с. 29). Это чувство ужаса с поразительной яркостью – и неоднократно – выражается в Евангелии от Луки. Именно им завершается взятая Достоевским эпиграфом к «Бесам» история гадаринского бесноватого; характерно, что этот стих в эпиграфе опущен:

«Тут же на горе паслось большое стадо свиней; и бесы просили Его, чтобы позволил им войти в них. Он позволил им. Бесы, выйдя из человека, вошли в свиней, и бросилось стадо с крутизны в озеро и потонуло. Пастухи, видя происшедшее, побежали и рассказали в городе и в селениях. И вышли видеть происшедшее; и, придя к Иисусу, нашли человека, из которого вышли бесы, сидящего у ног Иисуса, одетого и в здравом уме; и ужаснулись. Видевшие же рассказали им, как исцелился бесновавшийся. *И просил Его весь народ Гадаринской окрестности удалиться от них, потому что они объаты были великим страхом* (курсив наш. – Т. К.)» (Лк 8: 32-37).

Также в Евангелии от Луки читаем: «Увидев это, Симон Петр *припал к коленям Иисуса* и сказал: *выйди от меня, Господи!* потому что я человек грешный (курсив наш. – Т. К.)» (Лк 5: 8). Возможно, Смердяков находится с книгой Сирина в таких же отношениях – отношениях трепета перед священным. В конце концов, «и бесы веруют, и трепещут» (Иак 2: 19); в Новом Завете бесы лучше людей знают, что перед ними Христос, и самое Его присутствие их мучает: в той же сцене с изгнанием бесов из одержимого они говорят Христу: «...что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? умоляю Тебя, не мучь меня» (Лк 8: 28).

Внешнее в Смердякове показывает, что он не хочет накрыть деньги «засморканным» платком, словно боится их осквернить, а потому использует для их сокрытия книгу. С одной стороны, этот жест говорит о том, что деньги все еще остаются своего рода богом Смердякова; теперь его личность, его стремление к чистоте перенесены на эти деньги. В русском языке эта связь существует для всех, обусловленная этимологической связью между Богом и богатством, но, как и в случае с большим количеством абстрактных терминов, возможны значительные расхождения в понимании того, что такое богатство. «Не собирайте себе *сокровищ* на земле, где моль и ржа истребляют и где воры подкапывают и крадут, но собирайте себе *сокровища* на небе, где ни моль, ни ржа не истребляют и где воры не подкапывают и не крадут (курсив наш. – Т. К.)» (Матф. 6: 19-20).

С другой стороны, Смердяков помещает между собой и своей воплощенной в деньгах псевдоличностью книгу, в которой один человек пытается подать другому надежду на иное уподобление Богу, на уподобление

не в богоборческом вызове и самоутверждении, но в сострадании и любви, и это, возможно, говорит о пребывающей внутри него надежде хотя бы на другого человека, который может молиться о нем Богу (ср. рассуждения Смердякова о двух возможных пустынножителях, которые могут свести гору в море (Достоевский, 1972-1990, т. 14, с. 120)) и который в своей человечности не вселяет в него такой трепет, как Бог. Важность человеческого сострадания и деятельной любви как первого шага к постижению любви Божией и Бога в «Братьях Карамазовых» подчеркивается постоянно: «Уж коли я, такой же, как и ты, человек грешный, над тобой умилился и пожалел тебя, кольми паче Бог» (Достоевский, 1972-1990, т. 14, с. 48), – говорит старец Зосима грешной и кающейся крестьянке. «Постарайтесь любить ваших ближних деятельно и неустанно. По мере того как будете преуспевать в любви, будете убеждаться и в бытии Бога, и в бессмертии души вашей. Если же дойдете до полного самоотвержения в любви к ближнему, тогда уж несомненно уверуете, и никакое сомнение даже и не возможет зайти в вашу душу» (Достоевский, 1972-1990, т. 14, с. 52), – советует он же восторженной г-же Хохлаковой.

Значимо, что Смердяков помещает между собой и деньгами не Библию, не Новый Завет, не Евангелие, но книгу другого человека. Книга Исаака Сирина – это надежда, подаваемая не через некое Богоявление, ибо такое явление ужасает человека («выйди от меня, Господи! ибо я человек грешный»), но именно надежда, подаваемая через другого человека, знающего, что такое грех. Недаром С. Л. Франк утверждал, что, «по-видимому, Достоевский держался даже мнения, что духовное просветление, обретение даров благодати без опыта греха и зла вообще невозможно» (1927, с. 77).

Заключение

Таким образом, исследование, казалось бы, маргинального мотива использования книги как предмета (на контрасте с широко распространенной моделью рассмотрения книги прежде всего как текста) показывает, что по крайней мере послеострожное творчество Достоевского включает в себя комплекс повторяющихся мотивов и идеологем, последовательно воплощаемых в целом спектре сюжетных ходов и деталей его произведений. Анализ любого элемента поэтики Достоевского, даже самого, казалось бы, незначительного, приводит исследователей и читателей к пониманию принципиальных составляющих гносеологии, антропологии и теологии писателя.

Анализ книги как предмета, в частности, приводит читателей к выводу о намеренной и принципиальной амбивалентности поэтики писателя. Однако принципы этой амбивалентности далеки от понимаемой в релятивистском ключе хрестоматийной «полифонии» его творчества (Боневская, 1998). В своих воспоминаниях о Достоевском, опубликованных в 1883 г., Н. Н. Страхов писал: «Федор Михайлович любил эти вопросы, о сущности вещей и о пределах знания» (1883, с. 225). Один из ключей к проблеме «пределов знания» содержится в черновой записи о Байроне в черновиках «Дневника писателя», которая начинается так: «Грешный человек, я убежден (ну хоть капельку)...» (Достоевский, 1972-1990, т. 22, с. 246). «Убежден» и «ну хоть капельку» – два почти диаметрально противоположных друг другу описания внутренней уверенности человека в своих предположениях, но у Достоевского они парадоксальным образом стоят рядом. При этом предшествует им внешне логически не связанные с ними слова «грешный человек» (об этом кажущемся «небрежении словом» как художественном принципе Достоевского, призванном заставить читателя самого достраивать связи между событиями, писал Д. С. Лихачев (1976)). На самом деле этот внешне не связанный с оксюморонным высказыванием Достоевского зачин является объяснением появления таких оксюморонов. Они происходят из постоянных (и оправданных) сомнений Достоевского в надежности человеческого познания. Человек в своем земном существовании грешен, не всеведущ, а потому любые его предположения и выводы могут быть ошибочны. Слова «грешный человек» необходимы Достоевскому, чтобы объяснить истоки собственного оксюморонного высказывания, которое только таким и может быть применительно к человеку.

Функционирование книги как предмета, вопреки привычному пониманию книги прежде всего как текста, т. е. ее содержания, становится наглядным примером амбивалентности земного мира грешных людей. Принцип обращения с книгой как с вещью заставляет читателя скорректировать собственные предпосылки анализа поступающей ему информации (наличие книги = знакомство с ее содержанием), т. е. скорректировать собственные гносеологические процедуры постижения окружающего мира. Исследование соотношения книги как вещи (она тесно связана с человеком и его взаимоотношениями с людьми) в сравнении с книгой как текстом и содержанием (возможное получение надежды через другого человека; принципиально иной, укорененный в жалости и любви принцип приближения к Богу и уподобления Богу) приводит читателей к основополагающим принципам богословия и антропологии писателя.

Творчество Достоевского принципиально метафизично (Степанян, 2005, с. 102), взаимоотношения с божественным определяют земной уровень бытия человека, но при этом путь к Богу может начаться с пути к человеку. Как сказано у ап. Иоанна, «кто говорит: “я люблю Бога”, а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого видит, как может любить Бога, Которого не видит?» (1 Ин. 4: 20). Таким образом, даже анализ малозначимого, казалось бы, мотива, дает возможность выйти на фундаментальные художественные принципы Достоевского.

Перспективы дальнейших исследований видятся в расширении спектра изучения двойной функции книг как текстов и как предметов, в частности, в исследовании их двойной роли в ранних произведениях Достоевского, а также в более глубоком исследовании манифестации гносеологических и антропологических принципов Достоевского в элементах его поэтики.

Источники | References

1. Бонецкая Н. К. Бахтин глазами метафизика // Диалог. Карнавал. Хронотоп. 1998. № 1.
2. Викторovich В. А. Дневник писателя. Достоевский как учитель жизни. Аудиокнига. М.: Лекторий Магистрия, 2018.
3. Гачева А. Г. Апокатастасис в русской религиозно-философской мысли последней трети XIX – первой трети XX в. Статья первая: Ф. М. Достоевский, Н. Ф. Федоров, В. С. Соловьев // Вестник Российского государственного гуманитарного университета. Серия «Философия. Социология. Искусствоведение». 2018. № 1 (11).
4. Дунаев М. М. Православие и русская литература. Том II // Азбука веры. 2024. https://azbyka.ru/fiction/pravoslavie-i-russkaya-literatura-tom-ii-chast-3-dunaev/?full_text=1
5. Капилюпи С. М. Вопрос о грехопадении и всеобщем спасении в романе «Братья Карамазовы» // Роман Ф. М. Достоевского «Братья Карамазовы». Современное состояние изучения / под ред. Т. А. Касаткиной. М., 2007.
6. Книги в книге / под ред. Т. А. Касаткиной. М.: Институт мировой литературы имени А. М. Горького Российской академии наук, 2024.
7. Корбелла К. Концепт «книга» в романе Ф. М. Достоевского «Идиот» // Достоевский и мировая культура. Филологический журнал. 2023. № 4 (24).
8. Лихачев Д. С. «Небрежение словом» у Достоевского // Достоевский. Материалы и исследования. Л.: Наука, 1976. Т. 2.
9. Медведев А. А. «Сердце милующее» в творчестве Ф. М. Достоевского и христианская традиция // Диалоги классиков – диалоги с классикой: сборник научных статей / под ред. О. В. Зырянова, Н. В. Пращерук. Екатеринбург, 2014.
10. Моторин А. В. Кроткая ли «Кроткая»? Достоевский о самоубийцах // Православие.ru. 2021. <https://pravoslavie.ru/137260.html?ysclid=m6p7h2q9rn861527841>
11. Отто Р. Священное. Об иррациональном в идее божественного и его соотношении с рациональным. СПб.: АНО «Изд-во С.-Петерб. ун-та», 2008.
12. Сальвестрони С. Преподобный Исаак Сирий и творчество Ф. М. Достоевского // Преподобный Исаак Сирий и его духовное наследие: материалы Первой международной патристической конференции Общецерковной аспирантуры и докторантуры имени святых Кирилла и Мефодия (г. Москва, 10-11 октября 2013 г.) / под общ. ред. митр. Волоколамского Илариона. М.: Общецерковная аспирантура и докторантура имени св. Кирилла и Мефодия, 2014.
13. Степанян К. А. «Сознать и сказать». «Реализм в высшем смысле» как творческий метод Ф. М. Достоевского. М.: Раритет, 2005.
14. Сухих И. Н. Художественный мир Некрасова. Спор об искусстве: поэт как гражданин // Мир русского слова. 2006. № 3.
15. Франк С. Л. Достоевский и кризис гуманизма // Путь. 1927. № 31.
16. Copleston F. A History of Philosophy: in 9 vols. N. Y.: IMAGE, 1994. Vol. 4.
17. Jackson R. L. Dialogues with Dostoevsky. The Overwhelming Questions. Stanford: Stanford University Press, 1993.

Информация об авторах | Author information



Ковалевская Татьяна Вячеславовна¹, д. филос. н., доц.

¹ Российский государственный гуманитарный университет, г. Москва



Tatyana Vyacheslavovna Kovalevskaya¹, Dr

¹ Russian State University for the Humanities, Moscow

¹ tkowalewska@yandex.ru

Информация о статье | About this article

Дата поступления рукописи (received): 04.01.2025; опубликовано online (published online): 20.02.2025.

Ключевые слова (keywords): антропология Достоевского; богословие Достоевского; гносеология Достоевского; кенотическое самоопустошение; Dostoevsky's anthropology; Dostoevsky's theology; Dostoevsky's epistemology; kenotic self-emptying.